А. С. Дёмин

СРАВНЕНИЕ «АКЫ ВОДА» В «СКАЗАНИИ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ» И ЖАЛОСТЛИВОСТЬ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

1. Предметный смысл сравнения

Агиографическое «Сказание о Борисе и Глебе» неизвестного автора конца XI – начала XII в. содержит исключительно яркую деталь в рассказе о нападении убийц на Глеба, которые «обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ, *блещащася, акы вода*» [1]. Откуда эта изобразительная деталь появилась?

Вряд ли автор «Сказания» исторически точно знал, как блестели в действительности мечи нападавших, или заимствовал эту деталь в качестве реалии из преданий о Борисе и Глебе. Все остальные памятники борисоглебского цикла в лучшем случае лишь глухо упоминают обнаженное или готовимое «оружье» у убийц (летописный рассказ «О убьеньи Борисове» и рассказы в Прологах) или вообще не упоминают никакого «оружья» у нападавших («Чтение о Борисе о Глебе») [2].

Сравнение блеска обнаженных мечей с блеском воды в отрывке об убийстве Глеба нельзя отнести и к традиционным риторическим средствам, ибо в древнерусской литературе блеск оружия, в том числе мечей, не был водным, но обычно сравнивался с блеском или сиянием молнии, солнца или зари (или оружие блестело на солнце, либо при молнии). Примеров тому такое множество, что не станем их приводить.

Для дальнейших объяснений необходимы наблюдения над контекстом анализируемого сравнения. В эпизоде об убийстве брата, содержащем сравнение с водой, постоянно встречаются и другие предметные детали: Глеб «поиде въ *кораблици*» до «*устие*» реки; убийцы «*гребяахуся*» к Глебу; они «равно *пловуща*, начаша *скакати*» в ладью Глеба; у гребцов «*весла отъ руку испадоша*, и вьси *отъ страха омьртвеша*» (40—41). Этих деталей нет в других произведениях о

Борисе и Глебе (только в «Чтении» упомянуты весла, но без рук: «положе весла» — 13; а в одном из проложных рассказов упомянуто «скакание» — 99, взятое как раз из «Сказания о Борисе и Глебе» [3]). Предметность изложения в данном случае была обусловлена темой приключения. Показательно, что в рассматриваемом эпизоде «Сказания» Глеб, молясь своему отцу, употребляет знаменательное слово: «вижь *приключьшаяся* чаду твоему» (42); это слово, как правило, связанное с обозначением внезапного неблагоприятного события, то есть приключения, отсутствует в других произведениях о Борисе и Глебе.

У автора «Сказания» при рассказе об обстоятельствах убийства Глеба, возможно, мелькнуло припоминание о традиции описания страшного приключения на воде. Эпизоды приключений во время плавания на кораблях в древнейших памятниках содержат те же или сходные детали, что и в соответствующем эпизоде «Сказания», — неизбежные по сюжету упоминания кораблей, плавания, воды, весел и пр., но самое главное — подчеркивания страха. Вот, например, «Космография» Козмы Индикоплова: «*плававше*... и пришедше близь... *устие*... яко же *убоатися* всемъ иже в *корабли* и бяше *страшно* намъ отнюдь видение» и т. д. [4] Одно из «слов» Синайского патерика: «вълезъшю ему въ *корабль*... и въ мнозе *унынии* и недоумении беша корабльници...» [5]. Одно из чудес «Жития Николая Чудотворца» упоминает и выпадение весел из рук гребцов: «*иде в корабли*... и *весла*, яже беша в *рукахъ* ихъ, *изрази*... и от ризъ его многа *вода* текущи... от великия *ужасти* разумети не могу» [6].

Однако только «приключенческими» описательными традициями все-таки нельзя объяснить сам факт появления сравнения с водой в «Сказании о Борисе и Глебе». Другое объяснение сравнения связано вот с какой особенностью повествовательной манеры автора «Сказания» в рассказе об убийстве Глеба — с настойчивым повторением указаний на реальную зримость людей и предметов: «*узърети* лице твое», «*узъре* я», «они *узъревъше* и» «*възъревъ* къ нимъ» (40), «онъ *видевъ*» (41), «уже не имамъ васъ *видети*», «*вижь* течение сльзъ моихъ», «*възъревъ* къ нимъ» (42), «и *узъре* желаемааго си брата» (43). Эти упоминания зримости регулярно повторялись автором и в других эпизодах «Сказания»: «къ кому *възърю*» (29), «*узърю* ли си лице» (30), «и вси *зъряще* его» (31), «и *видевъ*... яко годъ есть утрении» (33), «*зъря* к иконе Господьни», «и *узъреста*... и *видевъша* господина своего», «*узъре* текущиихъ... блистание оружия и мечьное оцещение» (34–35) и т. д. и т. п. Блеск обнаженных мечей, как отметил автор, тоже «си *видевъ* блаженый» Глеб (40).

Здесь снова не обошлось без авторского следования древней литературной традиции. Описания сражений или подготовки к нападению традиционно содержали какую-нибудь избранную броскую деталь, ясно зримую противником и вызывающую его страх. Вот обзор этой литературной традиции в самом кратчайшем виде по некоторым древнейшим памятникам. Яркой деталью при описании войска или воина нередко служило упоминание обнаженного или блещущего оружия, с выразительным сравнением. Например, описание ангела-воителя в Ипатьевской летописи под 1110 г.: Александр Македонский «види мужа... и мечь нагъ в руце его и обличенье меча его, *яко молонии...* и ужасеся цесарь велми» [7]. Или войско в «Хронике» Георгия Амартола: «яко же въсия солнце на златыя щиты и на оружия, блистахуся горы от нихъ и сияху, *яко отъ святилъ* горящь, темь възмущахуся вси видяще» [8]. В подобных картинах с блещущим оружием сравнения могли относиться и к чему-то другому, нежели оружие. Так, в «Слове о всех святых» Иоанна Златоуста: «Чьто бо есть страшьно на брани: пълъци на обе стороне станутъ оковани, блистающе ся оружиемь и землю светяще... и многопадение обоиде, *акы на жатве класомъ*» [9]. Или в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия: «Вои же, по обычаю облъкшеся въ оружие, *яко стены,* поидоша... Вся преграднаа места бльщахуся оружиемь позлащенымь... И великъ ужасъ нападе на мятежники» [10]. Оружие могло блистать и без каких-либо сравнений. Например, в «Повести временных лет»: «яко посветяше молонья, блещашеться оружье, и бе... сеча силна и страшна» [11]; «яко се видяху... ездяху... въ оружьи светле и страшни» [12]. В «Хронике» Георгия Амартола: «оружию движания и златыя красоты блистания» [13].

Не вызывает сомнений, что подобная повествовательная традиция повлияла на описание нападения убийц на Глеба в «Сказании о Борисе и Глебе». Воздействие воинских мотивов на «Сказаниие» не единично (ср.: «поидоша противу собе, и покрыша поле Льтьское множьствъмь вои, и съступишася» и т. д. – 46–47; или о Борисе и Глебе: «Вы... намъ оружие... и меча обоюду остра» – 49); этих воинских мотивов и деталей нет в других произведениях о Борисе и Глебе.

Однако сравнение блеска оружия именно с водой не укладывается в фонд традиционных изобразительных воинских мотивов. Видимо, не в изобразительных традициях было дело. Тем более что сравнение блеска мечей с водой в «Сказании» имело лишь ограниченный изобразительный смысл и указывало только на сильный блеск оружия, не более того.

2. Символический смысл сравнения

Эпизод со сравнением мечей с водой содержит немаловажную смысловую особенность: воинские мотивы в древнерусской литературе всегда связаны со сражением; в эпизоде же о Глебе в «Сказании» сражение не последовало, хотя мечи обнажены. Но эти мечи не окровавлены, а чисты, блестят водянисто, потому что не будут употреблены в дело, – ведь Глеба заклали ножом. Недаром Глеб видел мечи, а упомянул свое будущее заклание ножом: «закалаемъ есмь» (42). Сравнение оружия с водой обладало не столько изобразительностью, сколько символическим смыслом, предсказывая будущий результат наперед.

Существовала ли литературная традиция символизировать неприменение оружия его чистотой, сказать трудно. Но все же можно привести близкую аналогию из Библии: у Голиафа «копие в руку его, *яко вода*, ищищено блещащеся» [14], – копье блестело, как вода, потому что оно так и не вступило в бой и осталось чистым, Давид успел убить Голиафа до применения копья. Показательно, что в пересказе этого эпизода Хронографом 1512 г. незамаранность оружия Голиафа, притом уже меча, указана прямо: «в руку его мечь, яко вода, чистъ» [15]. Однако непосредственного влияния Библии в данном эпизоде «Сказания», пожалуй, не наблюдается.

Сравнение блеска мечей с водой содержало еще один символический, притом экспрессивный, смысл. Водяной блеск мечей был зловещим, символизировал какую-то страшную и даже смертельную опасность. Недаром автор «Сказания» добавил, что блещущих, как вода, мечей люди не просто устрашились, но «омьртвеша». Тут, возможно, не обошлось без влияния традиции рассказов о путешествиях, на этот раз сухопутных, но связывавших блеск воды с опасностью. Например, в «Слове о трех мнисех» (или «Житии Макария Римского»): «источник знамянанъ водныи белъ, яко млеко [в другом списке: «и бе въ немъ вода бела»]. И видехомъ ту мужи страшны зело, окрестъ воды стояща... и видевше то, мы трепещюще, яко мертви... и минухом место то со страхом» [16]. В «Александрии»: «И видехомъ некако место, и бе на немъ источникъ светелъ, его же вода заблищашася, аки молниа... и призвахъ повара... он же, приимъ икру, и иде къ светлому источнику омыти икру, и абие намокши в воде, оживе икра и избежа от руку повара... поваръ же бывшаго не поведа» [17], – очевидно, напуганный. В «Девгениевом деянии»: «Во источнице бо томъ свйти, а вода, яко свеща, светится. И не

смеяше бо к воде той от храбрыхъ приитъти никто, понеже бяху мнози чюдеса: в воде той змей великъ живяше» [18]. Однако нигде зловещий блеск воды не переносился на оружие, и, таким образом, сравнение блеска обнаженных мечей с водой в «Сказании о Борисе и Глебе» снова оказывалось уникальным.

Пока, до обнаружения иных аналогий, остается признать, что сравнение блеска мечей с водой явилось результатом индивидуального творчества автора «Сказания». Убийцы, обнажив мечи, перескакивали над водой в корабль Глеба – вот спонтанно и возникло у автора сравнение с водой.

3. Жалостливость «Сказания»

При всей случайности появления сравнение блеска мечей с водой не было бессмысленным и вполне соответствовало авторскому настроению. Сравнение блеска мечей с блеском воды в «Сказании» относится к любопытным феноменам древнерусской литературной поэтики. Изобразительность у автора «Сказания» была особого рода – не столько реалистической, столь привычной для нас, сколько иносказательно-символической (о подобном явлении уже писал Д. С. Лихачев [19]). Оказывается, существовали литературные средства, сочетавшие, с одной стороны, реальную изобразительность, а с другой стороны, умозрительную символичность и благодаря такому сочетанию смыслов отличавшиеся особой экспрессивностью.

Но ведь экспрессивно все «Сказание». В рассказе об убийстве Глеба герой жалостно плачет, чувства персонажей драматически сталкиваются и меняются: Глеб, «умиленый», затем «възрадовася», его убийцы «омрачаахуся», его окружение ужаснулось и пр. Подчеркнуто часто – почти 30 раз – в тексте «Сказания» повторяются эпизоды с упоминаниями о слезах, печали, плачах, воздыханиях, умилении, стенаниях, горе, унынии, сокрушении, скорби, жалости и пр. у героев и даже у мимолетных персонажей, а упоминания минорных чувств постоянно разрастаются в целые описательные сцены плачей. В отличие от «Сказания», в более пространном «Чтении о Борисе и Глебе» плачи упоминаются всего лишь 5–6 раз, и то очень кратко, а в летописной статье «Об убьеньи Борисове» плачи упоминаются и того меньше – 3 раза, и тоже кратко. Стремлением автора «Сказания» к трагичности повествования можно объяснить, в частности, и появление зловещего сравнения мечей с водой, окруженного самыми интенсивными в «Сказании» плачами и воплями персонажей. Вода к слезам ближе, чем, скажем,

молния или солнце (ср. в Галицко-Волынской летописи: «слезы от себе изливающи, аки воду» [20]; или в одном из «слов» Иоанна Златоуста: «источьницехъ водьныихъ прикладаема беаху очеса и... сльзы вряща капааху...» [21] и др.).

Но зачем автору понадобилось так убиваться? Объяснить болезненную, трагическую манеру изложения автора «Сказания» нельзя только житийной традицией. Например, в Успенском сборнике, где наряду со «Сказанием о Борисе и Глебе» переписаны различные жития, в том числе мученические, ничего похожего на острую трагичность «Сказания» не встречается. В прочих житиях, скажем, Евстафия Плакиды или Алексия человека Божия, плачи гораздо более редки, чем в «Сказании».

Стремление автора «Сказания» к явно повышенной трагической экспрессивности изложения объясняется индивидуальной авторской целью. В рассказе об убийстве Глеба автор подчеркнул отсутствие отклика людей на отчаянные речи Глеба: убийцы «ни поне единого словесе постыдешася... не вънемлють словесъ его» (41); близкие тоже не слушают его, на что Глеб жалуется: «отца моего Василия призъвахъ – и не послуша мене... И ты, Борисе, брате, ... то ни ты хочеши мене послушати... и никто же не вънемлеть ми» (42). Да и Борис ранее жаловался на то же: «не вемь, къ кому обратитися» (29). Подобная тоска героев по слушателям отсутствует в других произведениях о Борисе и Глебе. В «Сказании» же Борис и Глеб пытались вызвать сочувствие своими речами даже у убийц («милъ ся имъ деяти», «милъ вы си дею» – 35, 41) и даже убийц ласково называли («братия моя милая и любимая», «братия моя милая и драгая» – 25, 41). Подобных поползновений героев к сочувствию тоже нет в других произведениях о Борисе и Глебе. Наконец, автор «Сказания», и только он, однажды, возможно, показал образец сочувственного отклика слушателей на речи Бориса: «да егда слышаху словеса его... и къждо въ души своеи стонааше» (36). По-видимому, аналогично эмоциональным героям «Сказания» автор пытался, так сказать, «достучаться» до чувств читателей и слушателей своего произведения.

Поэтому автор устами персонажей регулярно обращался фактически к читателям, взывая к их чувствам: «Къто бо не *въсплачеться*, съмерти тое пагубьное приводя предъ очи сьрдьца своего?» (31); «къто не *почюдиться* великууму съмирению, къто ли не съмериться, оного съмерение видя и слыша?» (37). В конце «Сказания» автор уже и сам призвал «нас», включая читателей, отозваться чувствами на рассказанное о двух страстотерпцах: «Темь же прибегаемъ к

вама и *съ слезами* припадающе молимъся...» (50). В конце рассказа об убийстве Глеба тоже содержалось косвенное, в виде евангельской цитаты, обращение к чувствам читателей – побуждение их к нужному эмоциональному состоянию: «*Въ търпении* вашемь сътяжите душа ваша» (42).

Не ясно, каких читателей или слушателей имел в виду автор «Сказания», – вообще всех жителей Русской земли? (В «Чтении» читатели обозначены, кажется, более церковно: «братие»). Вероятно, для религиозно-гражданственного потрясения читателей понадобилось автору «Сказания» и необычное сравнение мечей с водой.

4. Жалостливость Владимира Мономаха

Теперь требуется объяснить повествовательную манеру автора «Сказания». Точное время создания «Сказания» неизвестно. Однако если принять за основу мнение ряда ученых о появлении «Сказания» не ранее начала XII в., в 1115–1117 гг.[22], то намечаются интригующие параллели.

Показательна характеристика великого князя киевского Владимира Всеволодовича Мономаха в Лаврентьевской летописи – в «Повести временных лет» и в продолжившей ее Суздальской летописи. Так, под 1125 г. в посмертной, итоговой характеристике Владимира Мономаха подчеркивается одна из ведущих его черт: «*Жалостив* же бяше отинудь и даръ си от Бога прия: да егда в церковь внидяшеть и слыша пенье, и абье *слезы* испущашеть, и тако молбы ко владыце Христу *со слезами* воспущаше»[23]. Жалостливость Мономаха отмечена прежде всего к «сродникома своима, к святыма мученикама Борису и Глебу».

Не только церковная жалостливость Мономаха имелась в виду. В предшествующих рассказах летописи постоянно отмечалась сходная жалостливость Мономаха: когда заболел его отец, то Мономах «*плакавъся*», и когда преставился отец, то Мономах снова «*плакавъся*» (217, под 1093 г.); вскоре утонул брат Владимира Мономаха и погибла дружина – «Володимеръ же... *плакася* по брате своемъ и по дружине своеи... *печаленъ* зело» (220, под 1093 г.); затем один князь ослепил другого – «Володимеръ же слышавъ... ужасеся и *всплакавъ*» (262, под 1097 г.); князья хотят воевать друг с другом – и снова «се слышавъ, Володимеръ *расплакавъся*» (262, под 1097 г.); сверх того, Владимир заявлял, что ему «*жаль*» убиваемых смердов (277, под 1103 г.). Все это упоминания отнюдь не церковных плачей Владимира

Мономаха. Жалостливость показана в летописи как всеохватывающее свойство Мономаха. Притом никто из князей в летописи не показан таким жалостливым и часто плачущим, как Владимир Мономах. Это, по летописи, его индивидуальная черта.

Вероятно, так оно и было в действительности. Правда, прямых документов о чувствительности Мономаха в нашем распоряжении нет. Но ведь Лаврентьевская летопись в конечном счете все-таки восходит к южнорусскому летописанию времени Владимира Мономаха[21], то есть, вероятно, осталась правдивой по отношению к нему. Показательно, что собственно южнорусская Ипатьевская летопись содержит те же и даже добавляет еще детали к картине чувствительности Мономаха. Под 1113 г.: «Володимеръ *плакася* велми... *жаля си* по брате» (о Святополке); под 1117 г.: «Володимеръ же *съжали си* темь оже проливашеться кровь»; под 1126 г.: «добрыи *страдалецъ* за Рускую землю»[25].

Наконец, собственные сочинения Владимира Мономаха тоже могут подтвердить его чувствительный настрой. Так, в своем «Поучении» 1117 г. он пишет: «веземъ Псалтырю, *в печали* разгнухъ я, и то ми ся выня: вскую *печалуеши*, душе... Вскую *печална* еси, луше моя»; далее Мономах призывает своих детей заниматься «3-мя делы добрыми... покаяньемъ, *слезами* и милостынею» — «*слезы* своя испустите»; и снова возвращается к своим минорным чувствам: «*съжаливъси* христьяных душь и селъ горящих и манастырь»; в письме к Олегу Святославовичу: «о, *многострастныи и печалны* азъ, много борешися сердцемь», «кончавъ *слезы... желеючи*»[26].

Видимо, реальный Владимир Мономах, как видно из нашего краткого обзора, и в самом деле по разным поводам отличался жалостливостью, которая явно перекликается с жалостливостью «Сказания о Борисе и Глебе». Такое сходство подталкивает к предположению о том, что жалостливо-трагические настроения Владимира Мономаха каким-то образом повлияли на стиль автора «Сказания о Борисе и Глебе», включая и появление в его тексте резко экспрессивного сравнения мечей с водой.

Прямых подтверждений связи «Сказания» с Мономахом нет. В тексте самого «Сказания» Владимир Мономах никак не упоминается, хотя косвенно он, может быть, и подразумевался в заключающих «Сказание» восхвалениях, между прочим сообщавших о современности уже автора «Сказания»: «князи наши противу въстающая държавьно побежають... дързость поганьскую низълагаемъ» (49). Если в этих словах видеть напоминания о состоявшихся победоносных походах русских князей на половцев, то при-

дется отнести эти напоминания лишь ко времени не ранее начала XII в., а именно – к походам 1102, 1107 и 1111 гг., в которых активное участие принимал Владимир. Увериться в подобном толковании помогает считающийся предшественником «Сказания» летописный рассказ «О убьеньи Борисове», в конце которого высказана еще лишь только надежда на будущие успехи: «...заступника наша! Покорита поганыя подъ нозе княземъ нашимъ» (72).

Связь между настроенностью автора «Сказания» и эмоциональной особенностью Владимира Мономаха можно подтвердить только очень неполными аналогиями между «Сказанием» и некоторыми местами произведений, прямо упоминающих Владимира Мономаха и Бориса с Глебом, жалостливо-трагичных по тону и оттого содержащих зловещие изобразительно-символические детали. Таково уже упоминавшееся «Поучение» Владимира Мономаха. В том месте, где Мономах говорит о своих трагических переживаниях («съжадивъси христьяных душь и селъ горящих и манастырь» – 249), он тут же использует зловещую изобразительно-символическую деталь – яркое сравнение (полки половецкие «облизахутся на нас, акы волци, стояще») – и при этом поминает Бориса («на святого Бориса день.. ехахом сквозь полкы половьчские... и святыи Борисъ не да имъ мене в користь»).

Между чувствами и их выражением у Мономаха и у автора «Сказания» есть сходство, но лишь частичное. Жалостливость, судя по летописным упоминаниям, проявилась у Мономаха гораздо раньше, чем у автора «Сказания», на которого Мономахово настроение и могло повлиять, но не благодаря возможному личному общению автора «Сказания» с Мономахом (данные на этот счет отсутствуют) или чтению его «Поучения», а, скорее всего, в результате воздействия эмоциональной атмосферы вокруг Мономаха (хотя и об этой атмосфере мы ничего определенного не знаем) на настроенность автора «Сказания» и использование им яркого сравнения.

На сентиментальную общественную атмосферу вокруг Владимира Мономаха, возможно, указывает посвященная ему некрологическая статья под 1126 г. в Ипатьевской летописи, где обильно плачут буквально все: «святители же, *жалящеси, плакахуся* по святомъ и добромъ князи; весь народъ и вси людие по немъ *плакахуся,* яко же дети по отцю или по матери; *плакахуся* по немъ вси людие и сынове его... и внуци его; и тако разидошася вси людие *с жалостью* великою... *с плачемъ* великомъ» [27]. О похоронах других князей, даже самых известных, больше нигде в летописи не рассказывалось с фиксацией такой потрясенности людей. Так что можно

предположить существование повышенно-эмоциональной атмосферы и вокруг живого Мономаха и ее влияние на повествовательную манеру автора «Сказания о Борисе и Глебе».

Есть еще несколько частичных аналогий «Сказанию» в сочинениях уже не Мономаха, но, видимо, отразивших веяние трагической жалостливости вокруг Владимира Мономаха. К наиболее ранним аналогиям относится рассказ о половецком нашествии в «Повести временных лет» под 1093 г., где говорится не только о печалях Владимира Мономаха, но и других людей, — все очень чувствительны. Так, по утонувшему при бегстве от половцев молодому князю Ростиславу «*плакася* по немь мати его и вси людье *пожалиша* си по немь повелику» (221); от нашествия половцев «бысть *плачь* великъ в граде», «сотвори бо ся *плачь* великъ в земли нашеи» (222); «на христьяньсте роде *страхъ и колебанье*» (223); «вся полна суть *слезъ*... ноне же *плачь* по всемъ улицам упространися» (224); «мъного роду христьяньска стражюще, *печални... со слезами* отвещеваху другъ къ другу... со *слезами* родъ свои поведающе» (225) и т. п. Подобного жалостливого рассказа в летописи еще не появлялось. Зловещие изобразительно-символические детали вкраплены в трагический рассказ: «ноне видимъ нивы поростъше зверемъ жилища быша» (224); «опустневше лици, почерневше телесы... языкомъ испаленым, нази ходяще, и боси ногы имуще, сбодены терньем» и пр. (225). И Бориса, и Глеба при этом поминал летописец: «Богъ нам наводить сетованье... въ праздникъ Бориса и Глеба, еже есть праздникъ новыи Русьскыя земля» (222). Однако нет никаких непосредственных связей между «Сказанием о Борисе и Глебе», летописным рассказом под 1093 г. и поведением самого Мономаха. Можно предполагать только воздействие атмосферы вокруг Мономаха и на эти эмоциональные сочинения с их экспрессивными литературными средствами, включая изобразительно-символические детали.

Еще одна частичная аналогия «Сказанию о Борисе и Глебе» наблюдается в «Повести о Васильке Теребовльском», помещенной в «Повести временных лет» под 1097 г., но на самом деле со значительными поздними редакторскими изменениями вставленной в летопись в 1116–1118 гг. или немного позже[28]. В этой летописной повести плачет и переживает не только Владимир Мономах, но и другие персонажи: «Святополкъ же *сжалиси* по брате своем» (257); Давид «бе бо *ужаслъся*» (259); «Василко... възпи к Богу *плачем* великим и *стенаньем*» (260); «*плакатися* начала попадья... и очюти *плачь*» ее Василько (261); «Давыдъ и Олегъ *печална* бысть велми и *плакастася*» (262). Это самое слезное повествование летописи соответ-

венно содержит и многие зловещие изобразительно-символические детали: «Давыдъ же седяше, акы немъ» (259) — готовится к ослеплению Василька; «бысть, яко и мертвъ» (261) — состояние ослепленного; «да быхв той сорочке кроваве смерть приялъ и сталъ пред Богомь» — желание ослепленного; «вверженъ в ны ножь» (262) — оценка преступления и т. д. Правда, в этой повести упоминаются не Борис и Глеб, а убиваемые братья без имен: «и начнеть брат брата закалати» (269). В итоге картина та же: сходство повествовательных манер «Сказания» и летописной повести с их экспрессивными деталями не более чем самое общее; оба сочинения независимо друг от друга отражают предполагаемую нами эмоциональность Мономахова времени.

Наконец, еще одна довольно слабая аналогия «Сказанию о Борисе и Глебе» отыскивается в «Сказании чудес Романа и Давида», в рассказе о перенесении мощей Бориса и Глеба в 1115 г. по инициативе Владимира Мономаха. Рассказ подчеркивает чувствительность участников действа: «вси елико бяше множьство людии, ни единъ же без *слезъ* не бысть» и «вьсемъ... съ *слъзами* Бога призывающемъ» [29]. В предыдущих рассказах о событиях, произошедших до великого княжения Владимира Мономаха, ни словом не говорилось ни о слезах, ни о плачах людей. В слезном рассказе же о перенесении мощей появились и детали, которые можно расценить как зловещие: при перенесении мощей Глеба «ста рака не поступьно. Яко потягоша силою, ужа претьргняхуся... а людемъ зовущемъ... и въсхожаше гласъ народа отъ всехъ... яко и громъ» [30]. Но опять: отмечается лишь самое общее сходство манер повествования в рассказе об убийстве Глеба из «Сказания о Борисе и Глебе» и в рассказе о перенесении их мощей из «Сказания чудес Романа и Давида», — то есть экспрессивность обоих рассказов, по-видимому, была продиктована эмоциональной атмосферой времени Владимира Мономаха.

В результате, наша попытка объяснить в «Сказании о Борисе и Глебе» появление изобразительно-символического сравнения «обнажены меча... бльщащася, акы вода» приводит нас к гипотезе об основной первопричине сравнения: жалостливо-трагическая настроенность Владимира Мономаха и его окружения, вероятно, повлияла на эмоциональную атмосферу того времени, а отсюда и на «Сказание» и его поэтику. Это феномен связи литературного средства с общественными настроениями начала XII в. Идейная ориентация на Мономаха уже давно отмечалась исследователями на при-

мере редакций «Повести временных лет». Теперь сюда можно предположительно отнести и «Сказание о Борисе и Глебе».

5. Дальнейшая история сравнения

Расширение базы наблюдений по «мономаховой» проблеме — дело будущего, мы же ограничиваемся только одним указанным сравнением. Дальнейшая судьба сравнения зловещего блеска враждебного оружия с водой в древнерусской литературе крайне бедна и подчеркивает литературную оригинальность «Сказания». Оружие оставалось блещущим во многих произведениях, но без воды. Пока можно указать только две очень относительные аналогии редкостному сравнению из «Сказания о Борисе и Глебе». Одна аналогия содержит сравнение хоть и не оружия, но все-таки воинских доспехов с водой. В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится: «Доспехы же русскых сыновъ, *аки вода* въ вся ветры, колыбашеся» [31]. Подобная аналогия в «Сказании о Мамаевом побоище» слишком формальна и никакой содержательной связи между обоими произведениями не выявляет: сравнение, во-первых, относится не к противнику, а к русскому войску; во-вторых, содержит указание на движение воды, а не на ее блеск; в-третьих, входит в картину утренней бодрости русского войска «въ время ведра», а не в зловещую сцену омрачения и помертвения действующих сторон.

Вторая аналогия — уже из «Повести об азовском осадном сидении донских казаков» — заслуживает несколько большего внимания. Хотя описание доспехов в «Повести» восходит в основном к «Сказанию о Мамаевом побоище» и к тому же не содержит ни упоминания блеска, ни сравнения с водой, но зато описание относится именно к врагам и наполнено все-таки световыми мотивами. Речь идет о турецком войске: «Фетили у всех яныченей кипят у мушкетов их, *что свещи горят*... А на янычenях на всех збруя их одинакая красная, *яко зоря*, кажетца... А на главах у всех яныченей шишяки, *яко звезды*, кажются» [32].

В приведенном отрывке о приходе турецкого войска к Азову удивляет перенос автором «Повести», так сказать, хороших сравнений, положительных деталей на турок. Например, сравнение сверкания доспехов с зарей в «Сказании о Мамаевом побоище» исконно относилось к русским воинам: «шоломы злаченыя на главах ихъ, *аки заря* утренаа... светящися» [33]. Еще в Галицко-Волынской летописи доспехи, как заря, сверкали у русских же воинов: «щите же ихъ,

яко заря, бе»[34]. Автор же «Повести об азовском осадном сидении» применил сравнение с зарей к противникам русских – к туркам.

То же самое произошло со сравнениями блеска доспехов и оружия со звездами и с горящими свечами. Ранее сравнение со звездами имело в виду русских воинов, как, например, в «Казанской истории»: у них «*аки звезды*, на главах светяхуся златыя шеломы и щиты»[35]. Автор «Повести об азовском осадном сидении» снова перенес это благородное сравнение со звездами на врагов. Сравнение же с горящими свечами вообще отличалось церковным характером. Ср. в «Житии Василия Нового»: «от каплей крови его, иже на земли, възсиа свет, *яко же свещи горят*, яко звезды небесныа сияют»[36]. Но и такое сравнение автор «Повести» придал «бусурманам».

Объяснить столь странное явление «пробусурманскими» симпатиями автора «Повести» совершенно невозможно: он турок ругательски ругает. Отчасти можно связать положительные изобразительные мотивы «Повести» в описании вражеского войска со схожими повествовательными тенденциями «Казанской истории». Однако автор «Повести об азовском осадном сидении» пошел явно дальше «Казанской истории» в яркости изображения вражеских доспехов и оружия, в попытке показать «*стройной* приход бусурманской», «*дивной* приход бусурманской»[37].

Все дело заключается в особенности эстетики автора «Повести»: яркое и красочное напрямую означало для него грозное и страшное. Это видно по всему эпизоду прихода турецкого войска: шатры турецкие «яко горы высокия и страшныя забелелися»; «трубии великия... голосами *страшными* их бусурманскими»; «яко звери воют *страшны*»; «стрелба... как есть стала гроза великая над нами страшная, бутто... молния страшная»; «и страшно добре нам стало от них... такую рать великую *страшную*... очима кому видети»; «знамена у них... черны... яко тучи *страшныя*» и т. д.[38]

В последующем эпизоде – уже подготовки турецкого войска к штурму – красочное и страшное опять связаны: «Знамена у них зацвели и прапоры, как есть стали цветы многия... Дивен и *страшен* приход их под Азов город. Никак того уже нелзя *страшнее* быть»[39]. И в картине штурма та же связь красочного и страшного: «от стрелбы их огненой дым топился до неба, как есть *страшная* гроза небесная, когда бывает гром с молниею»[40].

Красочно-страшное всегда адресно у автора «Повести». Страшно могло быть русским от яркой картины, но страшно могло быть и туркам. Такова, например, зловещая для турок, обещающая им «горести лютые и плачи многие» красочная картина ожидания битвы:

«в полях наших, летаючи, клекчют орлы сизыя, и грают вороны черныя подле Дона тихова, всегда воют звери дивии – волцы серыя, по горам у нас брешут лисицы бурыя, – а все то скликаючи, вашего бусурманского трупа ожидаючи»[41]. Страшно туркам, по их признанию, и от яркого окончания битвы: «выезжают... два младыя мужика в белых ризах, с мечами голыми... шла великая и *страшная* туча... а перед нею, тучею, идут по воздуху два страшные юноши, а в руках своих держат мечи обнаженные, а грозятся на наши полки бусурманские», – «от того-то *страшного* видения» турки побежали[42].

«Повесть об азовском осадном сидении» косвенно упоминает Бориса и Глеба, и, возможно, «Сказанием о Борисе и Глебе» был навеян в том же месте «Повести» мотив обнаженных мечей. При всем различии «Сказания» и «Повести» видно, что и через пятьсот лет древняя литературная традиция оставалась в силе: яркая, красочная деталь как средство поэтики в древнерусском произведении XVII в., в его воинских эпизодах, несмотря на ослабленную или вовсе отсутствующую символичность и философичность, сохранила и даже усилила прежнюю экспрессивную функцию – быть зловещей, страшной, грозной, трагичной, а не нейтрально-изобразительной. Но принципиально изменилась реальная основа экспрессии, которую составило отнюдь не редкое в XVII в. ревностное военно-хозяйственное внимание авторов к вооружению, экипировке и тактике воюющих сторон. Таким образом, уникальная, больше никогда не повторявшаяся настроенность в киевском обществе начала XII в. в конечном счете и породила уникальное же сравнение в «Сказании о Борисе и Глебе».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. С. 40. Далее при цитировании текстов памятников борисоглебского цикла страницы этого издания указываются в скобках. Древнерусские тексты здесь и далее цитируются с упрощением орфографии.

[2] См.: Там же. С. 12–13, 70, 97, 99, 102, 103.

[3] Там же. С. XVI.

[4] Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 65–66.

[5] Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967. С. 275.

[6] *Крутова М. С.* Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности. М., 1997. С. 74–75.

[7] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 263.

[8] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. М., 1920. Т. 1. С. 203–204.

[9] Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 460–461.

[10] *Мещерский Н. А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 381.

[11] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 148. Под 1024 г.

[12] ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 267–268. Под 1111 г.

[13] *Истрин В. М.* Указ. соч. С. 200.

[14] Библия. Острог, 1581. Л. 131 об. Первая книга Царств, гл. 17.

[15] ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1 / Текст памятника подгот. С. П. Розанов. С. 109.

[16] Памятники СРЛ. СПб., 1862. Вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин. С. 138.

[17] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: исследование и текст. М., 1893. С. 76.

[18] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1991. С. 46.

[19] «Средневековый символизм часто подменяет метафору символом... В средневековых произведениях сама метафора очень часто оказывается одновременно и символом» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 1. С. 441).

[20] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. С. 408. Под 1288 г.

[21] Успенский сборник XII–XIII вв. С. 331.

[22] Выводы о датировке «Сказания о Борисе и Глебе», в частности 1115–1117 гг., см., например: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 96; *Абрамович Д. И.* Указ. соч. С. VII; *Адрианова-Перетц В. П.* Сюжетное повествование в житийных памятниках XI–XIII вв. // Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 92; *Дмитриев Л. А.* Сказание о Борисе и Глебе // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 398–408; *Ужанков А. Н.* Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий // Древняя Русь: вопросы медиевистики. М., 2001. № 1 (3). С. 49; *Никитин А. Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 296; *Он же.* Инок Иларион и начало русского летописания: Исследование и тексты. М., 2003. С. 81, 172.

[23] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 294–295. Далее столбцы указываются в скобках.

[24] См.: *Лурье Я. С.* Летопись Лаврентьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 242–243; *Он же.* Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. С. 58.

[25] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 275, 283, 289.

[26] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 241, 244, 245, 249, 252, 254. «Лирическое начало было в

высшей степени свойственно Мономаху» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 2. С. 153).

[27] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 289.

[28] См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. XXXV, XLI; *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 43, 50–52; *Творогов О. В.* Василий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 91–92; *Он же.* Сильвестр // Там же. С. 391–392.

[29] *Абрамович Д. И.* Указ. соч. С. 65.

[30] Там же. С. 65–66.

[31] ПЛДР: XIV – середина XV века / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. М., 1991. С. 164.

[32] Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков / Сост. Н. К. Гудзий. 6-е изд., испр. М., 1955. С. 359. В других списках «Повести» сравнения те же – см.: ПЛДР: XVII век. Кн. 1 / Текст памятника подгот. Н. В. Понырко. М., 1986. С. 141.

[33] ПЛДР: XIV – середина XV века. С. 164.

[34] ПЛДР: XIII век. С. 318. Под 1251 г.

[35] ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 470.

[36] ПЛДР: Вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М., 1986. С. 544.

[37] ПЛДР: XVII век. Кн. 1. С. 141; Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. С. 359.

[38] Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII веков. С. 358–359.

[39] Там же. С. 366.

[40] Там же. С. 366.

[41] Там же. С. 363.

[42] Там же. С. 372.